

На следующий, 19 июля, день весь хутор, бросив полевые работы, уже был дома. А на Ильин день, как раз на самый престол, так всегда весело празднуемый не только хутором, а всей станицей, уже более половины казаков хутора, в военно-походной амуниции и при ратных доспехах, стояли, выстроившись, за хутором, на кургане, где поп смиренно служил „напутственный“ молебен, благословляя „служивых“ на „ратное дело...“

А когда окончился молебен, и когда батюшка сказал проповедь, подчеркнув, что самая „сладкая смерть“ это — смерть на „поле брани“, и что тот, кто удостоится „положить душу свою за други своя“, унаследует „вечное небесное царствие“, и когда стали прощаться, — тогда заплакали не только люди, а даже „строевые“ кони, которые давно уже стояли, печально понурия свои лошадиные головы. Да и не только кони плакали, а даже ревом ревел сам курган, прощаясь с полухутором нередких своих веселых посетителей...

Утирают свои горькие слезы и Афанасий и Петро Пенькевы (собственно, по книгам они Паршины, но их больше зовут Пенькевыми — по „уличному“), два родных брата, садясь на своих строевых коней. А когда сели, обхватили руками иви друг другу, да так и замерли, вместе с занемевшими на месте конями. А глядя на братьев Пенькевых, занемел и сам курган, и все, что было на кургане... Вплылись братья Пенькевы один в одного, а люди, присмиревшие, как бы от нечаянного громового удара, все стоят да смотрят на них. Опустив крест и смиренно сложив на груди руки, молча, смотрит на застывших братьев Пенькевых и батюшка. А сам Пенек, отец Афанасия и Петра, как поднял рюмку с водкой, так и повесил ее в воздухе, не донеся до рта.

Держит и смотрит мутными, стеклянными глазами на своих детей и... тоже молчит. Ну, прямо, как окаменел...

Расплелась, наконец, руки братьев Пенькевых и, набрав в свои задушенные груди вздорного, свежего воздуха, они, отнеся с седел новыми фуражками низкий поклон кургану, лихо (хватало же духу!) попрощались. — Прощайте, родные! Не поминайте лихом!

И, толкнув коней, забыв про строй, тихо поехали...

— Поехал, поехал казак во чужбину далеку

На добром своем он коне вороном, — завел Афанасий, а потом, слышавшись с Петром, заиграли вместе:

— Вот и то покинул он свою Крайну;

Вот и то не извернулся ему в отеческий дом...

Играли протяжно, по-казачьему. Играли с казачьей удалью и лихостью, играли с тоской и невыразимой печалью, а окаменевший курган их больно слушал... А когда Афанасий и Петро доехали шагом, играя эту песню, до спуска с горы, они, остановившись, еще раз низко поклонились, глядя на хутор. А потом, толкнув коней и покрепче к ним прижавшись, лихо поскакали вниз, под гору. Братья Пенькевы скакали, скрывшись в

пыли, а темная пыльная туча за ними все удлинялась и удлинялась...

Это была еще песня, которую братья Пенькевы навсегда загвоздили в мою душу.

Так памятен остался мне Ильин день 1914 года... Памятен не только мне, а всему хутору да и не только хутору, а всему бывшему до этого дня мирному Тихому Дону...

С этого, „престольного“ дня и моя жизнь, и жизнь хутора, и жизнь самого Тихого Дона действительно „всколыхнулась“. И так „всколыхнулась“, что аж перевернулась „кверху дном“, перевернулась с той самой хуторской горы, с какой поскакали в лихо, и тоскливо, братья Пенькевы. С этого дня, в хуторе, действительно, был „забыт шум лагерный, товарища и братья...“

Печально прошел престол. Никто из „ученых“ не ходил по церковной площади в „проходку“ „под ручку с симпатей“, ни один пьяный казак не подрался в пивных палатках, ни один малыш не купил себе „пистолета“ или „свистюльки“, ни одна хуторская девка не „ночевала“ с приезжим к престолу с другого хутора парнем, ни одного „фаньшона**“) ни одна молодая не купила у выстроившихся так заманчиво по церковной площади армян с своими будками. Ничего не подрабатывали в этот всегда доходный день и старцы. Напрасно и калеки и слепцы раздирались, вопя „благим матом“ у церковной ограды. — Мало, совсем мало нашли они в своих запыленных деревянных ставках, которые они тщетно протягивали к обезкураженному хутору, ибо весь хутор был не в церкви, а там, на „выгоне“, на кургане... К обеду уже не было ни одной лавочки на базаре. Только и осталось — редкий лошадиный помет, свиротливые клочки бумаги, катаемые ветром по пустой площади, да немногочисленная детвора, собравшаяся „крутить коньки“. Невеселый был хозяин „коньков“ — видел он, что „кататься“ будет некому. Напрасно „забился...“

Не думал я тогда, что с этого Ильина дня так надолго „всколыхнется“, так надолго перевернется „кверху дном“ мой хутор. Думал, как и все думали тогда, что самое много месяца на три... И до смерти бы загрыз того смельчака, который осмелится бы сказать мне, что не на месяцы, а на годы, на долгие, долгие годы (а быть может и на всю мою жизнь) я расстанусь с родным мне хутором... Грешник... Уверен был, скользя с лобного до пыли кургана, что самое позже, весной, когда он обзеленится свежими, сочными кустиками шпирьша, на нем, всегда шумном и веселом „хуторском майдане“, снова соберется „улица“, и снова зазвенит с него протяжные напевы родных, хуторских песен, так мне понятных и так милых. Думал, что следующей же весной с него снова польется казачья, могучая, вольная песня, а хутор, утопая в сплошной зелени, будет ее весело слушать. Так думал я. И... как же крепко я ошибся... (Окончание следует).

*) Фаньшон — головной убор казачек.

Дон-Араши.

Наши песни нашим детям.

(Казачьей группе окончивших и окончивающих Пражскую реальную гимназию).

За 10-летие разобщенности с Родиной многие забыли наши старинные песни, а молодежь, выросшая за границей, и вовсе не слыхала их. А между тем, кто хочет познать душевный мир, горе, радости какого бы то ни было народа, пусть прислушается к его песням. Только в них можно, с известным приближением, понять мир чувств данного народа.

При переводе на русский язык ниже помещенных песен, мной поставлены две задачи: во-первых, сохранить смысл и, во-вторых, соблюсти по возможности внешнюю форму.

Наши песни разделяются резко на 2 группы:

1) песни старинные — „уту дун“ — тягучие, заунывные и 2) новейшие, более живые — „ахар дун“. Из песен первой группы дошли до нас песни с 16 ст.,

хотя, к сожалению, не все в полном виде, иногда даже в виде отрывков.

Песня „Алта дэрень гархини“ относится ко времени нашего пребывания в Зюнгариан — нашей древней родине. В ней поется:

„Как ня прекрасен мир
С высот Алтая,
Я не могу забыть*)
Ни в одном своем рождении
Мать и отца, баловавших,
Взростивших меня.
Слышу ли песню жаворонка
С высот кургана.

*) Вера в перерождение души.

Не могу я забыть
 Когда бы то ни было
 Ласки матери и отца,
 Взростивших меня.
 Слышу ли крики джвкп
 Птиц, стоя над „зал“*)
 Не могу я забыть,
 Ни в каком своем рождении
 Мать и отца,
 Вскормивших меня.
 Выйду-ли в широкое поле,
 Слышу пение „синих птиц“ —
 Забуду-ли когда-нибудь
 Мать мою родную,
 Грудью вскормившую меня.
 Поднимусь ли на вершины гор
 Слышу крики горных орлов,
 Не могу я забыть Вас,
 Моя мать, проливая слезы,
 Взростившая меня“.

Эта песня поется при торжественных, как печальных так и радостных событиях. Так, провожая новобранцев на военную службу, при общем волнении и подъеме настроения, угощая отъезжающих, становятся плечом к плечу молодки в стыдливо-скромные позы и, слегка закрывая одной рукой свои лица, стараясь попеть в унисон, затаивают „Алта дэрень гархини“. А молодой виночерший под пение подносит одной рукой напитки, становясь на левое колено, другой рукой вытирает пот и слезы. Добродетелью преисполненные молодцы принимают напиток правой рукой, потом переносят в левую руку, чтобы правой рукой сделать жест, заменяющий всякие благопожелания. Потом, слегка консувшись губами, поднимаются в свою очередь и, почтительно становясь на левое колено перед кем-нибудь на уважаемых и любимых старших, подносит свою долю (сбиг), желая услышать от него нравоучения и благопожелание.

Тут какой-нибудь „ава“ (лед) делает знак молодикам замолчать и, при наступившей тишине, произносят какое-либо нравоучение и благопожелание, употребляемое в таких случаях, например: „ну, дети мои, слушайте верно, будьте смиренные перед начальством, не забывайте веру отцов, молитесь, помните свой род и калмыцкий народ, слабых среди вас поддержите, сильным помогите прославить калмыцкое имя“... и т. д.

Бывали старики, которые сыпали нравоучениями и благопожеланиями до того утонченно-художественными, что их заслушивались, выучивали наизусть, чтобы впоследствии и самим блеснуть в нужном случае. По окончании благопожелания „ава“ слегка макает безымянным пальцем правой руки и трижды брызгает вверх (повдавание небесам) и, выпивая, оставляет немного, чтобы молодой человек вынул остаток и тем самым выбрал в себя сказанное со словами „да исполнится сказанное“...

Перехожу к другим песням.

Приезжает издали какой-нибудь родственник, мать которого или даже бабушка была из данного рода. Такой родственник называется „за“, а все относящееся к роду матери и бабушки — „нагцанар“. Такая роль считается самой трогательной, нежной и близкой. По патриархальным традициям к своему „за“ относятся настолько любовно, предупредительно, что ему не позво-

*) Натянутый между двух колеб аркан для привязывания телят и жеребят во время доения.

ляется касаться разливной ложки — ему должны все подносить.

При приезде „за“ серьезной, подходящей песней считается „Заглама-Боро“ (Серый, (конь), цвета кобчика). Эта песня имеет свою историю и относится к концу 17 ст.

Одна из дочерей Хана Аюки, по имени Сетер-Джаб была выдана замуж за Зюнгарского хун-тайши Галдан-Церен, от которого имела дочерей и сына Лоузанг-Шуну. У Галдан-Церена был от первой жены старший сын Цевен-Рабтан, который не возлюбил младшего брата от мачехи. Преследования дошли до того, что Лоузанг-Шуну принужден был бежать к родным своей матери „нагцанар“ — к волжским калмыкам. Про это бегство и сложена песня „Заглама-Боро“:

На горе, вечным снегом покрытой,
 Белый лев реветися.
 Лоузанг-Шуну, на гибель обреченный,
 К „нагцанар“, данным судьбой, мчится.
 Серый конь его пуле подобен,
 Не дрогнет его сердце
 При встрече с врагом,
 Лоузанг-Шуну, добродетелью

преисполненный,
 К „нагцанар“, данным судьбой, мчится.
 Бешмет его, — цвета сандалового дерева.
 Конь его — способен за Соколом взытися,
 Лоузанг-Шуну, на гибель обреченный,
 К „нагцанар“, данным судьбой, мчится“.

Если приехавший „за“ потерял мать, или потерял еще какое-нибудь горе, то сочувствие и угощение усиливается и песня Заглама-Боро поется со слезами и с таким чувством, перед которым способно растаять не одно чертвое сердце и биться в унисон со всеми „нагцанар“ и незатейливой обстановке, но полной внутренней теплоты, света и безкорыстной любви...

В те времена, когда отдавали девушек замуж Бог знает в какую даль и она годами не видела своих родных и могла о них лишь мечтать или петь, сложилась песня „Хара-Кала-Тогрун“. В ней поется:

В чужой, дальней стране
 За отцом, матерью тоскую.
 Ранней, ранней весной
 Крики журавлиные слышу.
 Точно жаворонок звенит
 Набор многочисленный,
 Точно мираж удаляется
 Мать шестидесятилетняя.
 Покровы кибитки развивающиеся
 Арканом затянули,
 Сердце мое волнующееся
 Табаком турецким успокаиваю.
 Кожу „хадганты“ соскабливаю.
 С трудом ее выделала,
 Но неужели своего вороного пожалела,
 В чужой стороне не навестили?“

Под тихучий, монотонный и грустный напев этой песни невеста рыдает вместе с подруженьками, прощаясь со своим светлым детством и беззаботной юностью. Битком набитая кибитка, опянявшие старики и старухи, рассеявшиеся кто где попало, общий галдеж, унисонное пение под аккомпанимент рыдающих девушек, выкрики главарей сторон, что близится время уюва, а потому требования „мордхин моголдок“ — стремительную — вот что знаменует эта песня о Хара-Кала-Тогрун.

(Окончание следует).

П. Нос.

Случайные встречи и разговоры.

(Из путевых заметок).

29 мая около часу ночи, поезд остановился на станции Кюстендил.

Ваяв извозчика, я отправился в город и остановился в одной из гостиниц.

Рано утром пошел бродить по городу, с целью встретить кого либо из казаков.

Иду по городу, погруженный в размышления и воспоминания.

Смотрю, навстречу мне идет человек. Невысокого роста. В санюгах. Слабый, но живой. Сразу видно, что он казак. Останавливаю его и спрашиваю:

— Скажите, пожалуйста, Вы казак?